

.....

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

В ящике письменного стола Джед хранил листок, затершийся до тканевой мягкости. Джед перечитывал его тысячи раз. Это была хроника событий, которую он составил с помощью официального полицейского отчета. Цифры эти были пыткой, но только они могли удержать в себе вспышки ужаса, которые по-прежнему пронизывали Джеда. Невыносимо яркий свет в спортзале, хаос подростковых тел и огни патрульных машин на улице, слепая паника гонит его по коридорам, краснота на сияющем школьном полу. Его удерживают чьи-то руки, из глотки раздается вой. Из его глотки.

21:06. Эктор Эспина заходит в школу с винтовкой AR-15 в руках.

21:08. Эктор Эспина заходит в театральный кабинет.

21:09. Эктор Эспина производит первый выстрел и поражает Брэда Розенберга в ногу.

21:10–21:11. Произведено двадцать два выстрела. Джонатан Стром, Брайан Хедли, Анна Хоук и Дженнифер Шмидт ранены. Кейт Ларсен, Вера Грасс, Рой Лопес и Реджинальд Авалон убиты.

21:13. Эктор Эспина выходит из кабинета и в коридоре сталкивается с Оливером. Производит три выстрела, две пули попадают в стену, одна — в Оливера.

21:16. Эрнесто Руис набрасывается на Эктора в вестибюле, отбирает у него винтовку. Эктор убегает через парадный вход.

21:20. Из вестибюля Эрнесто Руис слышит звук еще одного выстрела.

21:25. Прибывает первая полицейская машина и обнаруживает у входа в школу тело Эктора с револьвером в руке.

«Двадцать один тринадцать», — произносил Джед вслух множество раз в течение многих лет, словно эти цифры могли вернуть его в то мгновение. Мучительный, жуткий факт, которому вскоре исполнялось десять лет: та минута прошла. Двадцать один тринадцать: «Оливер, — мог закричать он. — Эктор!» Мог бы схватить этого парня, броситься телом на винтовку. Принять на себя выстрел. Убить его. *Оливер!* Слишком поздно. 21:13 перетекло в 21:14, перетекло в десять лет. Джед ничего не сделал.

.....

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Щелк. Щелк. Щелк. Снято. Вера Грасс, напористая девочка из театрального кружка. Красная точка у нее на виске, в лице пустота. Крапинки, перфорация, сочащийся пунктир на ее руках, на теле. Что-то не так и с лицом Роя Лопеса. Ребекка не сразу поняла, что части лица не хватает. Крики, не похожие на крики, бьющая в стороны взрывчатая тишина. Она хотела сказать: «Тебе не надо этого делать». Как будто уже не было слишком поздно. Там, перед ней. Там. Уже не совсем мистер Авалон — отметина на лице, отверстие в груди, легкое посвистывание. Глаза его закатились, как у навеки возмущенного человека. Ребекка положила руки на мистера Авалона, словно хотела собрать его воедино. Когда она подняла глаза, ее взгляд встретился со взглядом Эктора. Тот склонился к ней, словно желая что-то объяснить. Он поднял свою винтовку, наставил ее между глаз Ребекки, и она крепко зажмурилась. Но потом, без единого слова, Эктор повернулся и ушел. Он оставил Ребекку с ответами, которые она никогда не вымолвит, и с вопросами, на которые она никогда не сможет ответить. Почему и не ее тоже? Почему он навел на нее дуло, а потом просто ушел? Пожалел ее? Или хотел наказать Ребекку, оставить ее жить с этими

вопросами? Или в этом вообще не было никакого смысла? Но Эктор вышел из кабинета, и Ребекка шарахнулась, услышав шум из коридора. Когда звук шагов стих, она приблизилась к двери, и вот тогда увидела *Оливера*.

Пятнадцатое ноября — водораздел, эпоха трансформаций в персональной эволюции Ребекки. Мистера Авалона и Эктора не стало, и Ребекка была теперь особью другого вида. Истина случившегося была слишком очевидной, чтобы ее высказать. Когда Ребекка попыталась поговорить с Мануэлем Пасом, ее горло не смогло издать ни звука.

Только один раз Ребекка вернулась к домику мистера Авалона. Двери были заперты, окна тоже. Она бродила по двору и вскоре очутилась посреди серой обветшалости сарайчика.

Ржавые гвозди в банках, отвертки на полке, тяжелое дыхание и запах кожи и пота за приторной вонью чего-то прокисшего — такой сильной, что Ребекку чуть не вырвало. Она нашла одну-единственную лампочку, зажгла ее. За верстаком — клочок черной шерсти. Эдвина едва дышала, лежа в своих экскрементах.

Ребекка забрала Эдвину домой и выходила ее. Стала просто собачьей нянькой: большего она вынести не могла. Родители так сильно жалели Ребекку, что не заставили ее отказаться от собаки. «Не знаю, — говорила девушка, когда к ней приходили с расспросами. — Я не знаю». Она никогда не ответит им, не ответит так, как требовалось вопрошающим. Но когда Эдвина несколько оправилась, Ребекка отнесла ее в палату Оливера. До последнего она не знала, что пришла туда, чтобы отдать щенка. Отдать родным Оливера все, что у нее осталось.

— Ее зовут Эдвина, — сказала Ребекка.

— Спасибо, — ответил брат Оливера. Но больше она ему ничего не сказала.

Каждый день она говорила себе, что ее история теперь не имеет смысла, что уже слишком поздно. Но на самом деле она могла кому-нибудь рассказать. На самом деле она могла все это предотвратить.

Шло время. Вот ей восемнадцать, она получила школьный аттестат и не особенно успешно училась в нью-йоркском колледже. Вот ей двадцать три — по-прежнему без диплома, без цели, с деньгами. А вот ей двадцать шесть, и однажды вечером прошлое, которое она старалась прогнать, вернулось к ней. На бруклинском тротуаре к ее ногам жалась Эдвина. «Ребекка. Я Чарли. Чарли Лавинг».

Вряд ли она когда-нибудь разговаривала с этим мальчиком во времена *до*, но видела его достаточно часто, чтобы теперь удивиться его возмужалости. Красивый парень в клетчатой рубашке, за модными очками — сияющие серые глаза. Но она тоже изменилась, а потом изменилась снова. Ее кожа обветрилась, веснушки разрослись и превратились в бежевые пятна. Родители, которые некогда ее разрушили, растворились в серой дымке. Она жила в одиночестве, без работы, словно какая-то старая дева, разве что без кошек. Чарли уже не был мальчиком, а она не была девочкой. «Что тебе нужно?»

«Просто поговорить», — отвечал он. Глаза Чарли, с их ярким серым светом, были глазами того мальчика, с которым она разговаривала каждый день по утрам перед уроками, — в той иной жизни, когда она еще могла стать другим человеком. Что, если бы она просто продолжала разговаривать с Оливером? Что, если бы она прекратила ездить к мистеру Авалону? Правда находилась там, прямо возле ног Чарли. «Эдвина», — произнесла Ребекка.

*Просто поговорить.* Но разве она могла? «Психическое заболевание, — говорили люди по телевизору, качая головами. — Насилие в СМИ. Иммиграционная политика.

Нарковойны. Терроризм». И пускай Эктор с его озлобленным бормотанием и правда был нездоров, пускай он и правда видел жуткие записи, на которых его предшественники превращали свои страдания в страшный спектакль, Ребекка знала: эти обстоятельства послужили лишь хворостом для костра. Пламя разожгла ярость. Бешенство отчаявшегося, оскорбленного, отвергнутого ребенка, которого поманили ложной надеждой.

Однажды в колледже на лекции по дантовскому «Аду» преподаватель рассказывал, какие муки уготованы для гневливых. «Они вечно пребывают в иле реки Стикс, — сказал профессор, — бесконечно сокрушаясь о своих грехах, и их слова теряются в густой черной реке. Невыносимо, не правда ли?» Но проведя несколько лет в своей собственной преисподней, Ребекка могла опустить голову в мутные темные воды и расслышать жалобы Эктора. «У меня не было ничего, ничего, ничего; никто не пришел мне на помощь; почему никто не пришел мне на помощь; почему никто его не остановил; надежда была самой ужасной пыткой; почему никто не пришел мне на помощь?»

И теперь Ребекке было двадцать семь, и она стояла возле пустого родительского дома. Тополя вдоль канавы за домом стали вдвое выше. Эдвина скакала в густых пучках травы, устилавших землю. Она восторженно резвилась с удивительной для ее возраста энергией, словно искала подстреленную утку. «Эдвина!» — позвала Ребекка, и собака подбежала к ее ногам. Ребекке было семнадцать, когда она отдала Чарли щенка. Ей было двадцать семь, когда она присела на корточки возле той же собаки, чья шерсть вокруг носа поседела. Эдвина лизнула ей лицо. Бедного мопса сковывала собственная печальная история: дважды его спасали от близкой смерти. «Прости меня», — сказала Ребекка и, подхватив Эдвину на руки, направилась к машине.

.....

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В этот вечер, почти через десять лет *после*, Джед находился в салоне своего «ниссана». Солнце в пустыне в половине восьмого — низкий немигающий шар. Когда Джед доехал до поворота к дому жены, ему потребовалось собрать все силы, чтобы свернуть с дороги.

Возможно, самым страшным преступлением Джеда была жалость к себе. На самом деле его жизнь не была сплошь трагедией, как он себе рассказывал. Случались и настоящие чудеса. Его сыновья. Их кожа, мышцы и кости, их широко распахнутые ясные глаза обычным воскресным утром, когда мальчики летали в воздухе, выводя на веревочных качелях дуги над ручьем. «Вот это скорость!» Возможно, это были самые счастливые часы его жизни. Если бы он только знал об этом тогда. Но каждый новый день ему опять не удавалось стать таким отцом, какого он себе представлял; он так иступленно любил своих мальчиков, что понимал: он все испугал, как и всегда случалось со всем, что он любил.

«История не повторяется, но часто рифмуется» — эту цитату миссис Хендерсон повесила в своем кабинете истории. И это было правдой, и не только потому, что жизнь Джеда переключалась с жизнью его отца. Сейчас, в то время как его

пикап громыхал по шоссе, Джек обнаружил, что думает о человеке, о котором не вспоминал уже несколько лет. Он думал о Реджинальде Авалоне. Реджинальд и Джек, Эктор и Оливер: две стихотворных строфы, четыре молодых человека, чьим творческим мечтам не суждено было сбыться. История рифмуется, но в этой симметрии чудилось нечто загадочное. Пикап, казалось, сам нашел дорогу. Джек находился возле этого странного нового потрескавшегося Евиного жилища. Не настоящего дома. Джек стоял у двери и стучал.

— Джек, — сказала Ева.

— Привет, — сказал он, глядя на свои стариковские руки. — Чарли тоже тут?

— Чарли? Ты приехал сюда, чтобы поговорить с Чарли?

Джек пожал плечами, уставившись в дверной коврик с надписью «Добро пожаловать».

— Его нет, — сказала Ева, — и я понятия не имею, куда он подевался.

— Вот как, — сказал Джек.

— Ну и? Что теперь? — спросила она, и он поднял взгляд.

*Ева.* Когда-то Джек писал для своей семьи более прекрасные вселенные, но единственная вселенная, в которую он старался поверить, была создана Евой. Вера, замалчивание фактов. Их идеальный сын, увядающий, незрячий; сын, которого много лет не обследовали и на которого слишком страшно было смотреть. Подлинная история Джека? Его молчание было тюремщиком. Он так и не сказал Еве: «Это неправильно. Ты должна отпустить Оливера. Должна разрешить Чарли жить собственной жизнью». Так и не сказал родным: «Это я заставил его прийти в тот вечер». Так никому и не сказал: «Этому мальчику Эктору нужна помощь».

Но теперь Джек заговорил. Он открыл рот, и все содержимое черного желудка наконец выплеснулось наружу. Ему

требовалось только отпустить, и теперь слова шли и шли. Когда он закончил, Ева долго молчала.

— Не понимаю, — наконец выговорила она.

— Я знаю.

— Так это из-за тебя? Из-за тебя он пришел в тот вечер?

— Да.

— И Эктор...

— Да.

— Зачем ты мне это рассказываешь? Зачем, Джед? Зачем сейчас?

— Я не мог не рассказать. Больше не мог.

— Почти на десять лет опоздал.

— Ты права. Разумеется, ты права.

Ева повернулась к нему спиной, прошла в свою убогую гостиную. Они долго беззвучно стояли там, нарушая тишину лишь дыханием. Когда Джед попытался коснуться ее, она с дрожью отстранилась.

— Пожалуйста, — произнес Джед, и она покачала головой.

Джеду казалось, что его сейчас разорвет на части и его плоть расплющится о стены. Как-то ему удавалось держаться прямо.

— Джед, — наконец сказала Ева.

Она протянула руку, и Джед отпрянул, ожидая пощечины. Но Ева только ухватила его за волосы на затылке, прижала его лоб к своему. Ее дыхание заполняло его рот, его слезы текли по ее лицу.

— Мне очень, очень жаль тебя, — сказала она, крепче хватая его за затылок. — Но слишком поздно теперь все это рассказывать и ожидать прощения. Слишком поздно думать, будто все еще как-то изменится.

Джед мягко отстранился, сжал в ладонях ее руки.

— Много еще осталось того, о чем мы никогда не говорили, — сказал он.

— Например?

— Мы должны остановиться, — сказал Джед. — Должны это прекратить. Ты должна прекратить.

— Что я должна прекратить?

— Ева...

— Иди в задницу. Серьезно, Джед. Иди в задницу. Я не хочу слышать больше ни слова.

— Но ты ведь никогда не слушала меня? Ты слышишь только то, что хочешь слышать.

— Легко тебе говорить.

— Мне никогда не легко говорить.

— Уходи. Просто уходи. Большого ты не заслуживаешь.

— А чего заслуживает Оливер?

— Уходи. — Ева указала на дверь.

— Выслушай меня, — сказал Джед.

— Не могу, — ответила она. — И не буду.

— Выслушай меня, — повторил Джед, и его рука опустилась на угол телевизора.

В течение трех десятилетий Джед изыскивал способы не издавать ни звука. Он всегда осторожно ступал по половицам, кивал за ужином, а затем удалялся в отцовскую тишину в домике переселенцев. Но сейчас он схватил телевизор и швырнул его об стену. Джед теперь был другим, и Ева с разинутым ртом смотрела на человека, в которого он превратился. А может, не превратился. Просто наконец проявился.

— Хорошо, — сказала она. — Я тебя слушаю.

И в шесть утра, сидя в Евиной кухне, они все еще разговаривали, когда раздался телефонный звонок.